

И ДЫШАТ ПОЧВА И СУДЬБА

Спустя два года после завершения романа «Доктор Живаго» Борис Пастернак писал:

«Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще не бывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней. Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность. Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит.

Надо отказаться от мысли, что все будет продолжать объявляться перед тем, как начинать существовать, и допустить возможность того времени, когда все опять будет двигаться и изменяться без предварительного объявления. Эта трудность есть и для меня. «Живаго» — это очень важный шаг, это большое счастье и удача, какие мне даже не снились. Но это сделано, и вместе с периодом, который эта книга выражает больше всего, написанного другими, книга эта и ее автор уходят в прошлое, и передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятием наполнить».

Автору этих строк за те два года, что, по воле Божьей, ему осталось прожить на свете, не пришлось выполнить сформулированную им новую задачу. Удивительно другое —

его творчество, и в особенности «Доктор Живаго», продолжают и в новых условиях оставаться величайшим художественным свидетельством не только ушедшего в прошлое образа жизни и уничтожения нескольких поколений незаурядно мыслящих людей, но и верного пути освобождения от последствий этого периода господства гнета и ненависти.

Крайние проявления неограниченной свободы в наше время чем-то напоминают предвоенные годы начала века, описанные в первых главах «Доктора Живаго», но при этом мы полностью лишены той нравственной и материальной основы, которая их тогда питала и сдерживала. Огромное богатство, накопленное в России к тому времени, растрчено, разграблено и пушено по ветру. Уничтожено царство исторической необходимости и преемственности.

Духовные завоевания всегда приобретались ценой недопустимых здоровой оценке трагедий и жертв. Начало истории христианства в этом смысле напрашивается в сравнение с событиями XX века. Мировая война, фарисейски развязанная государствами Европы якобы в защиту малых народностей, стала началом разрушения, поставившего человечество перед перспективой всеобщей гибели. В ходе этих лет немногим удалось остаться верными жизнеутверждающим положениям своей юности в их свободном и естественном развитии.

Таков творчески одаренный Юрий Андреевич Живаго, в силу своего таланта знающий, что «единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас». Этим он не может поступиться и, не отказываясь от профессиональной врачебной, научной и литературной работы, тем не менее постепенно теряет возможность производительной, самостоятельной деятельности. Его друзья и сверстники приспособляются, изменяются и гордятся тем, что им удалось сохранить внешнюю интеллигентность и устоять. А он постепенно опускается, страдает, упрекая себя в безволии, болеет и рано умирает.

Для окружающих он попусту растративший себя и обществу лишний человек. «Не выдался, — говорит о нем дворник Маркел. — Сколько на тебя денег извели! Учился, учился, а труды прахом пошли». Он же, не кривя душой и не теряя ясности восприятия, видит страшную цену того духовного извращения, которую платят его порабощенные совре-

менники. Именно в этом смысле надо понимать фразу: «Дорогие друзья, о как безнадежно ordinарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали».

Эта точная констатация разницы между творчески свободным художником и человеком, который идеализирует свою неволю, вызвала в свое время обиду многих и в значительной мере обусловила тридцатилетний запрет, наложенный на печатание романа на родине. Но в то же самое время целое поколение будущих диссидентов читало «Доктора Живаго» в запрещенных списках и иностранных изданиях, воспитывалось на нем и находило в нем жизненную опору.

В «Докторе Живаго» сильнее всего живописное (пластическое) и музыкальное (композиционное) начало. Даже в философских темах, которые Пастернаку хочется высказать с достаточной конкретностью, он не доходит до однозначности публицистического или проповеднического детерминизма. Его цель в том, чтобы дать читателю самому увидеть и продумать картины преображенной действительности. Так он дополняет вероятностную трактовку хода истории, данную у Льва Толстого, наблюдениями над природой, утверждая, что существование человечества еще не утратило своих живых возможностей, что оно, к нашей радости, осталось таким же непредсказуемым и неожиданным, как жизнь леса.

Пастернак пишет, что «история то, что называется ходом истории», Юрию Андреевичу история виделась подобием «растительного царства»:

«Зимой под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волосы на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преображается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю.

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полковод-

цами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет».

Русская революция представлялась Пастернаку главным событием века, экспериментальной проверкой социальных утопий прошлого. Его интересовали ее нравственные основы — ответ жизни на накладываемые ограничения, восстание как реакция на погранные красоты и достоинство человека. Вначале она виделась ему возмездием за извращение способности любить, восхищаясь Божиим замыслом, плодотворно и самостоятельно в нем участвовать.

При этом Пастернак с самого начала решительно осуждал политическое фарисейство, насилие и ненависть, пришедшие на смену общественным надеждам.

В лирическом сюжетном плане эти представления проявляются в отношениях Юрия Живаго, Ларисы Антиповой и Павла Антипова-Стрельникова. Юрий Андреевич подчиняется любви как высшему началу, для него это стремление сделать человека счастливым, ничего ему не навязывая, расплачиваясь ценою собственных потерь и лишений, неизбежных и обусловленных жизнью. Понимание своих возможностей перед ее лицом кладет предел его активности. Его кажущееся безволие — следствие трезвой оценки художника, свидетеля, исследователя и, наконец, врача, который должен правильно поставить диагноз и, если возможно, вылечить, то есть помочь жизни справиться с болезнью. Его творческая воля — талант, как «детская модель вселенной, заложенная с малых лет» в сердце, делает его неспособным к насильственным проявлениям, которые независимо от цели ведут к извращению и гибели. Подчиненностью воле жизненных обстоятельств объясняются бесчисленные лишения, выпавшие на его долю, потеря дома, семьи, Лары. Хотя Комаровский виноват не только в искалеченной судьбе Ларисы, но и в его собственном разорении и сиротстве, Живаго сразу теряет способность отстаивать любимую женщину, лишь только она по своей воле встает на сторону чуждой подчиняющей силы.

«Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливейшая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно», — писал Пастернак, характеризуя свойства таланта.

Единственный волевой поступок Юрия Андреевича, его рискованный побег из партизанского лагеря, побег к Ларе,

освобождение из плена, оказывается возможен благодаря благоприятному стечению обстоятельств. Жизнь и природа покровительствуют им и строят их любовь. «Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака, деревья... Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее наслаждение общей лепкой мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной»...

О большой прозе Пастернак мечтал в течение всей жизни, но попытки, предпринимаемые им ранее, затягиваясь на годы, оставались неоконченными. Отрывки, публиковавшиеся в газетах и журналах 1930-х годов, передавали картины и бытовые зарисовки дореволюционных лет России. Но автора мучило и останавливало в работе отсутствие «единства в понимании вещей». Такое понимание пришло в конце войны, когда возникло отчетливое ощущение присутствия Божия в историческом существовании России. Оно пришло, когда не сломленный годами террора народ нашел в себе силы противостоять злу фашистской чумы и ценой огромных потерь, несравнимых даже с немецкими, одержать победу в Отечественной войне.

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой завет
И как от обморока ожил.
Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в шепу
И всех поставить на колени...

Во времена самого тяжелого гнета Пастернак был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества.

«Если Богу угодно будет и я не ошибаюсь, — писал он летом 1944 года, — в России скоро будет яркая жизнь, захватывающе новый век и еще раньше, до наступления этого благополучия в частной жизни и обиходе, — поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувств-

вие этого заслоняет мне все остальное: неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности, домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати и политики и пр. и пр. Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движением».

Пробудившиеся после победы в войне надежды на либерализацию общества укрепили Пастернака в его замысле и дали силу приступить к работе, которую он считал своим пожизненным долгом. Несмотря на то, что этим веяниям скоро был положен конец, намерение писать роман стало внутренней необходимостью.

«Доктор Живаго» был начат в декабре 1945 года, последние изменения в его текст были внесены в декабре 1955-го.

Сознание неотвратимости крестного пути как залога бессмертия выражено в стихотворении «Гамлет», открывающем тетрадь Юрия Живаго:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
 Прилонясь к дверному косяку,
 Я ловлю в далеком отголоске,
 Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
 Тысячью биноклей на оси.
 Если только можно, Авва Отче,
 Чашу эту мимо пронеси.

Первоначальный план романа был с самого начала уже совершенно оформлен, и Пастернак рассчитывал быстро его написать.

«Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое...

Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным», — писал Пастернак в октябре 1946 года.

«Смерти не будет» — первое название романа в карандашной рукописи 1946 года. Здесь же эпиграф из Откровения Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую слезу с очей

их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопль, ни болезни уже не будет, ибо прежнее пошло». Трактовка этих слов дается в романе в сцене у постели умирающей Анны Ивановны Громеко. Бессмертие души для Живаго — следствие деятельной любви к ближнему: «Человек в других людях и есть душа человека».

Рисуя время своей молодости и молодости тех «мальчиков и девочек», которые составили славу русского религиозно-философского возрождения, Пастернак определял его духовную атмосферу как смесь идей Достоевского, Соловьева, Толстого, социализма и новейшей поэзии, что, вполне уживаясь вместе, составляло «новую, необычайно свежую фазу христианства».

Надежды этого поколения были сметены исторической бурей, на смену которой пришло новое язычество «оспою нарытых Калигул» (портрет Сталина), не подозревавших, «как бездарен всякий поработитель». Простота и правда явления Христа противопоставлены помпезности сталинского стиля вампир.

Автор рисует, как в мир «мраморной и золотой безвкусицы» (это не о Древнем Риме, а о нашей современности!) входит «легкий и одетый в сияние» Христос, «намеренно провинциальный, галилейский», и мир начинается заново: «Народы и боги прекратились, и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек — пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

Стихотворения Юрия Живаго составляют заключительную главу романа. Создавая их от имени своего героя, Пастернак обрел новую свободу и глубину лирического самовыражения. Они освобождены от биографической узости и свойственной ранней поэзии Пастернака нагнетенной метафоричности, тем самым становясь отражением обобщенного опыта поколения. Пастернак писал, что Юрий Живаго «должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским». Это позволило значительно расширить круг тем, что в первую очередь относится к стихотворениям евангельского цикла, написанным с точки зрения прямого свидетеля событий Священной истории.

Роман «Доктор Живаго» лишен каких-либо дидактических тенденций, что помогло ему найти благодарный отклик в душах людей, на что надеялся его автор, когда писал: «От-

личие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях, независимо от того, читают ее или не читают. Это — гордое, покоящееся в себе и самодовлеющее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незаблемость и непогрешимость.

Но настоящему искусству, в моем понимании, далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей. Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника, как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться».

Надежды автора оправдались. Картинами полувекового обихода называл Пастернак свой роман о докторе Живаго. По прошествии второй половины века и на рубеже нового он продолжает волновать читателей и находить живой отклик в их душах.

ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАК



Первая книга



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ

1

Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали:

«Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». — «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Ее». — «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марию Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьюми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат

покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пере-свистывания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались как бесноватые, и ложились на дорогу.

Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подокон-

ника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откапают, то, что в поле заметет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок, прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дом Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за

просекой через дорогу перебежали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер.

Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

4

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская, разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

— А эти, — спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутуло и перекинув нога за ногу, в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию, — а это как же, помещиковы или крестьянские?

— Энти господсти, — отвечал Павел и закуривал, — а вот эфти, — отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону, — эфти свои. Ай заснули? — то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямокой бесхитростной натуры, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и

знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала впри - сядку под брэнчание бубенчиков, которое сама своими скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову коррек - туру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть.

— Шалит народ в уезде, — говорил Николай Нико - лаевич. — В Паньковской волости купца зарезали, у земского сожгли конный завод. Ты как об этом дума - ешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные стра - сти Воскобойникова.

— Да что говорят? Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужику дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истин - ный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуп - лянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каем - кой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна по - вернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная кологривовская панорама с блестящей вдали рекой и пробегающей за ней желез - ной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось меч - тать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Ни - колая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время.

Скоро среди представителей тогдашней литерату - ры, профессоров университета и философов револю - ции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминоло - гии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались

словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно востановленной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей, он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обесмыслятся.

Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который, наверное, презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

5

— Жизненным нервом проблемы пауперизма, — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

— Я думаю, лучше сказать — существом, — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные са-

поги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.

— Между тем статистика смертей и рождений показывает, — диктовал Николай Николаевич.

— Надо вставить: за отчетный год, — говорил Иван Иванович и записывал.

Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.

Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.

— Гроза надвигается. Надо собираться.

— И не думайте. Не пущу. Сейчас будем чай пить.

— Мне к вечеру надо обязательно в город.

— Ничего не поможет. Слышать не хочу.

Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведенье, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться.

— Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю, — предложил Иван Иванович.

Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда. Аллея густо заросла травой. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги.

Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи,

которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе.

Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.

— Попадаются люди с талантом, — говорил Николай Николаевич. — Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять вы ничегошеньки не поняли.

— Мда, — мычал Иван Иванович, тонкий белокурый выюн с ехидною бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна (он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами). — Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете — я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?

— Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению.

Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем это главные составные части современного человека, без которых он немислим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспую изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработоритель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме. Уф, аж взопред, что называется. А ему хоть кол теши на голове!

— Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого мой желудок не варит.

— Ну да бог с вами. Бросим. Счастливец! Вид-то от вас какой — не налюбуетесь! А он живет и не чувствует.

На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками.

— Подумайте, только шестой час, — сказал Иван Иванович. — Видите, скорый из Сызрани. Он тут проходит в пять с минутами.

Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвились белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки.

— Странно, — сказал Воскобойников. — Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить.

6

Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними и Юра ему не пара. Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома.

Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал, ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.

Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном Священном писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами.

— Ангеле Божий, хранителю мой святой, — молил ся Юра, — утверди ум мой во истинном пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в раи, идеже лица святых и праведницы сияют яко светила. Мамочка была такая хорошая, не может

быть, чтобы она была грешница, помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка! — в душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новопритченную угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.

— Подождет. Потерпит, — как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

7

В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры.

Мальчик с отцом третий день находился в поезде.

Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, что возы стоят не двигаясь, а лошади поднимают и опускают ноги на одном месте.

На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов.

Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечную пружину оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало.

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?

Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиной смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым.

И, делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, которой они не в силах расхлебать.

Он был уверен, что, когда вырастет, он все это распутает.

Вот и сейчас, никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют.

Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости.

Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие — что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина, наверное, уже в пути.

В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами сидящие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирной косметикой. Когда они проходили мимо гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: «Ах, скажите, пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты! Мы не можем!»

Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом вымарки. Кровь казалась не его кровью, вытекшею из него, а приставшим посторонним придатком, пластырем, или брызгом присохшей грязи, или мокрым березовым листком.

Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро, без выражения стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное в вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки».

К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкою. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались.

Муж Тиверзиной стогрел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от трупа, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано, — как бы говорила она. — Какой по произволению Божию, а тут, вишь, такой стих нашел — от богатой жизни и ошаления рассудка».

Все пассажиры поезда перебивали около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высо-

ком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастья.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада.

Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов.

— Ах вот как? — удивлялся он разъяснениям Гордона. — Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее.

Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку.

Отец говорил, что это известный богач, добряк и шалопут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене, потом переходил к своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться. К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книж-

ные стойки и продавали игры и достопримечательности края.

Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц и, когда протрезвляется хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления.

За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с поезда.

Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке — последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочили следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городских. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.

8

«Опять это лампадное масло!» — злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати, воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая Ника залез под вторую.

Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню.

— Ну что ж делать, — сказал Веденяпин, — пройдишь, Юра, может быть, после найдется товарищ, поиграете.

Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой унижительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк.

Он был сегодня сам не свой и предшествующую

ночь не спал. Ему шел четырнадцатый год. Ему надое-ло быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Выходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одурающее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки.

Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея-медянка. Ника вздрогнул.

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам.

«Как хорошо на свете! — подумал он. — Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он — это я. Вот я велю ей, — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), — вот я прикажу ей...» — И в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку.

Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжен Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся — бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками.

Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу невысказанных и дурацких прозвищ вроде Иночек или Ноченька и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились.

Это был какой-то неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими на слоновьи уши, он огораживал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево — растение, а не животное.

Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии.

Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их проучит!

А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним как с маленьким? Вот он ей покажет! «Я ее ненавижу, — несколько раз повторил он про себя. — Я ее убью! Я позволю ее кататься на лодке и утоплю».

Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова, когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе, а просто-напросто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глупой яме. Но он их всех перехитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь.

Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрвала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза.

Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервушийся и тугой как резина стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку как багром подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались, белые цветы с яркою, как желток с кровью, сердцевинкой уходили под воду и выныривали со льющеюся из них водою.

Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накрывая лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту.

— Надоело учиться, — сказал Ника. — Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.

— А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзаменовкой.

Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения! А они еще и не нюхали алгебры.

Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо:

— Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?

— О, это еще так далеко. Вероятно, ни за кого. Я пока не думала.

— Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно.

— Тогда зачем ты спрашиваешь?

— Ты дура.

Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что, если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит.

— Попробуй, — сказала Надя.

Он схватил ее поперек туловища. Между ними завязалась драка. Они потеряли равновесие и полетели в воду.

Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги, а дна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тине, они выбрались на берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника.

Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокры-мокрешеньки вдвоем после такой переправы, они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали.

А теперь они молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкою ноги и руки и продавили ребра.

Наконец тихо, как взрослая, Надя проронила:
— Сумасшедший! — и он также по-взрослому ска-
зал:

— Прости меня.

Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями, не вдалеке от того места, где Ника утром увидел медянку.

Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее всемогущество, когда он по своему произволу повелевал природой. Что приказать ей сейчас? — подумал он. Чего бы ему больше всего хотелось? Ему представилось, что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею и много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОГО КРУГА

1

Война с Японией еще не кончилась. Неожиданно ее заслонили другие события. По России прокатывались волны революции, одна другой выше и невиданней.

В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою. Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь в женскую гимназию, по случайности ту самую и тот же самый класс, в котором училась Надя Кологризова.

У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триум-

фальных ворот, у наследников портнихи, с правом сохранения старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами.

Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты «Черногория» в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Лару в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела.

2

Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в «Черногории».

Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий».

Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество меблировки. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов.

Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятие.

В «Черногории» они занимали двадцать третий номер, а в двадцать четвертом со дня основания номеров жил виолончелист Тышкевич, потливый и лысый доб-

ряк в паричке, который молитвенно складывал руки и прижимал их к груди, когда убеждал кого-нибудь, и закидывал голову назад и вдохновенно закатывал глаза, играя в обществе и выступая на концертах. Он редко бывал дома и на целые дни уходил в Большой театр или консерваторию. Соседи познакомились. Взаимные одолжения сблизили их.

Так как присутствие детей иногда стесняло Амалию Карловну во время посещений Комаровского, Тышкевич, уходя, стал оставлять ей ключ от своего номера для приема ее приятеля. Скоро мадам Гишар так свылась с его самопожертвованием, что несколько раз в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего покровителя.

3

Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады.

Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы-Товарной.

Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Лара.

Все оставалось, как при Левицкой. Как очумелые, крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекрыть стук швейных машин и переливчатые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка.

В приемной дамы живописной группой окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблока-

чивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом на директорском месте сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц, Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек.

Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, шурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса и пожелания толпившихся заказчиц.

Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою. Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться. Тем не менее время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук.

Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину и мимоходом пугая переодетых франтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед: «Пожаловал», «Ейный», «Амалькина присуха», «Буйвол», «Бабья порча».

Предметом еще большей ненависти был его бульдог Джек, которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за поводырем.

Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и разорвал ей чулок.

— Я его смертью изведу, нечистую силу, — по-детски прохрипела Ларе на ухо Оля Демина.

— Да, в самом деле противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь?

— Тише ты, не ори, я вас научу. Вот яйца есть на

Пасху каменные. Ну вот у вашей маменьки на моде...

— Ну да, мраморные, хрустальные.

— Ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в сале, сало пристанет, наглотается он, паршивый пес, набьет, сатана, пестерь, и — шабаш! Квер-ху лапки! Стекло!

Лара смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского. Яйца, Джек — откуда что берется? «За что же мне такая участь, — думала Лара, — что я все вижу и так о всем болею?»

4

«Ведь для него мама — как это называется... Ведь он — мамин, это самое... Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь».

Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой.

Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете.

Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей, а для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминым поручениям. Она двига-

лась бесшумно и плавно, и все в ней — незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос — было под стать друг другу.

Было воскресенье, середина июля. По праздникам можно было утром понежиться в постели подольше. Лара лежала на спине, закинув руки назад и положив их под голову.

В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на улицу было отворено. Лара слышала, как громыхавшая вдали пролетка съехала с булыжной мостовой в желобок коночного рельса и грубая стукотня сменилась плавным скольжением колеса как по маслу. «Надо поспать еще немного», — подумала Лара. Рокот города усыплял, как колыбельная песня.

Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками — выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное — более или менее она сама, ее душа или сущность, стройно вложенная в очертания и отзвучиво рвущаяся в будущее.

«Надо уснуть», — думала Лара и вызывала в воображении солнечную сторону Каретного ряда в этот час, сараи экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, граненое стекло каретных фонарей, медвежьи чучела, богатую жизнь. А немного ниже, в мыслях рисовала себе Лара, — учение драгун во дворе Знаменских казарм, чинные ломающиеся лошади, идущие по кругу, прыжки с разбега в седла и проездка шагом, проездка рысью, проездка вскачь. И разинутые рты няnek с детьми и кормилиц, рядами прижавшихся снаружи к казарменной ограде. А еще ниже, думала Лара, — Петровка, Петровские линии.

«Что вы, Лара! Откуда такие мысли? Просто я хочу показать вам свою квартиру. Тем более что это рядом».

Была Ольга, у его знакомых в Каретном маленькая дочь-именинница. По этому случаю веселились взрослые — танцы, шампанское. Он приглашал маму, но мама не могла, ей нездоровилось. Мама сказала: «Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете: «Амалия, бере-

гите Лару». Вот теперь и берегите ее». И он ее берег, нечего сказать! Ха-ха-ха!

Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали не одетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвастовства, чтобы показать, какая ты уже большая.

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным.

Бросить эти глупости. Раз навсегда. Не разыгрывать простушки, не умильничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь плохо кончится. Тут совсем рядом страшная черта. Ступить шаг, и сразу же летишь в пропасть. Забыть думать о танцах. В них все зло. Не стесняться отказывать. Выдумать, что не учи-лась танцевать или сломала ногу.

5

Осенью происходили волнения на железных дорогах московского узла. Забастовала Московско-Казанская железная дорога. К ней должна была примкнуть Московско-Брестская. Решение о забастовке было принято, но в комитете дороги не могли столкнуться о дне ее объявления. Все на дороге знали о забастовке, и требовался только внешний повод, чтобы она началась самочинно.

Было холодное пасмурное утро начала октября. В этот день на линии должны были выдавать жалование. Долго не поступали сведения из счетной части. Потом в контору прошел мальчик с табелью, выплатной ведомостью и грудой отобранных с целью взыска-

ния рабочих книжек. Платеж начался. По бесконечной полосе незастроенного пространства, отделявшего вокзал, мастерские, паровозные депо, пакгаузы и рельсовые пути от деревянных построек правления, потянулись за заработком проводники, стрелочники, слесаря и их подручные, бабы-поломойки из вагонного парка.

Пахло началом городской зимы, топтанным листом клена, талым снегом, паровозной гарью и теплым ржаным хлебом, который выпекали в подвале вокзального буфета и только что вынули из печи. Приходили и уходили поезда. Их составляли и разбирали, размахивая свернутыми и развернутыми флагами. На все лады заливались рожки сторожей, карманные свистки сцепщиков и басистые гудки паровозов. Столбы дыма бесконечными лестницами подымались к небу. Растопленные паровозы стояли, готовые к выходу, обжигая холодные зимние облака кипящими облаками пара.

По краю полотна расхаживали взад и вперед начальник дистанции инженер путей сообщения Фуфлыгин и дорожный мастер привокзального участка Павел Ферапонтович Антипов. Антипов надоедал службе ремонта жалобами на материал, который отгружали ему для обновления рельсового покрова. Сталь была недостаточной вязкости. Рельсы не выдерживали пробы на прогиб и излом и по предположениям Антипова должны были лопаться на морозе. Управление относилось безучастно к жалобам Павла Ферапонтовича. Кто-то нагревал себе на этом руки.

На Фуфлыгине была расстегнутая дорогая шуба с путевым кантиком и под нею новый штатский костюм из шевиота. Он осторожно ступал по насыпи, любясь общей линией пиджачных бортов, правильностью брючной складки и благородной формой своей обуви.

Слова Антипова влетали у него в одно ухо и вылетали в другое. Фуфлыгин думал о чем-то своем, каждую минуту вынимал часы, смотрел на них и куда-то торопился.

— Верно, верно, батюшка, — нетерпеливо прерыв-

вал он Антипова, — но это только на главных путях где-нибудь или на сквозном перегоне, где большое движение. А вспомни, что у тебя? Запасные пути какие-то и тупики, лопух да крапива, в крайнем случае — сортировка порожняка и разъезды маневровой «кукушки». И он еще недоволен! Да ты с ума сошел! Тут не то что такие рельсы, тут можно класть деревянные.

Фуфлыгин посмотрел на часы, захлопнул крышку и стал вглядываться в даль, откуда к железной дороге приближалась шоссейная. На повороте дороги показались коляска. Это был свой выезд Фуфлыгина. За ним пожаловала жена. Кучер остановил лошадей почти у полотна, все время сдерживая их и потпрукивая на них тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев, — лошади пугались железной дороги. В углу коляски, небрежно откинувшись на подушки, сидела красивая дама.

— Ну, брат, как-нибудь в другой раз, — сказал начальник дистанции и махнул рукой — не до твоих, мол, рельсов. Есть поважнее материи.

Супруги укатили.

6

Через часа три или четыре, поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле как из-под земли выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин.

— Пойдем скорее, — сказал Тиверзин. — Я не спигов остерегаюсь, как бы не выследили, а сейчас кончится эта волынка, вылезут они из землянки и нагонят. А я их видеть не могу. Когда все так тянуть, незачем и огород городить. Ни к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю! И ты тоже хорош, эту размазную с Николаевской поддерживаешь.

— У моей Дарьи тиф брюшной. Мне бы ее в больницу. Покамест не сведу, ничего в голову не лезет.

— Говорят, выдают сегодня жалованье. Схожу в

контору. Не платежный бы день, вот как перед Богом, плюнул бы я на вас и, не медля ни минуты, своей упрямой положил бы конец гомозне.

— Это, позвольте спросить, каким же способом?

— Дело нехитрое. Спустился в котельную, дал свисток — и кончен бал.

Они простились и пошли в разные стороны.

Тиверзин шел по путям в направлении к городу. Навстречу ему попадались люди, шедшие с получкою из конторы. Их было очень много. Тиверзин на глаз определил, что на территории станции расплатились почти со всеми.

Стало смеркаться. На открытой площадке возле конторы толпились незанятые рабочие, освещенные конторскими фонарями. На въезде к площадке стояла фуфлыгинская коляска. Фуфлыгина сидела в ней в прежней позе, словно она с утра не выходила из экипажа. Она дожидалась мужа, получавшего деньги в конторе.

Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. Кучер слез с козел и стал поднимать кожаный верх. Пока, упершись ногой в задок, он растягивал тугие распорки, Фуфлыгина любовалась бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей. Она бросала немигающий мечтательный взгляд поверх толпившихся рабочих с таким видом, словно в случае необходимости этот взгляд мог бы пройти без ущерба через них насквозь, как сквозь туман или изморось.

Тиверзин случайно подхватил это выражение. Его покорило. Он прошел, не поклонившись Фуфлыгиной, и решил зайти за жалованьем попозже, чтобы не сталкиваться в конторе с ее мужем. Он пошел дальше, в менее освещенную сторону мастерских, где чернел поворотный круг с расходящимися путями в паровозное депо.

— Тиверзин! Куприк! — окликнули его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал и слышался плач ребенка. — Киприян Савельевич, заступитесь за мальчика, — сказала из толпы какая-то женщина.

Старый мастер Петр Худолеев опять по обыкновению лупцевал свою жертву, малолетнего ученика Юсупку.

Худолеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку драчуном. Когда-то на бравого мастерского заглядывались купеческие дочери и поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать Тиверзина, в то время выпускница-епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища, паровозного машиниста Савелия Никитича Тиверзина.

На шестой год ее вдовства, после ужасной смерти Савелия Никитича (он сгорел в 1888 году при одном нашумевшем в то время столкновении поездов), Петр Петрович возобновил свое искательство, и опять Марфа Гавриловна ему отказала. С тех пор Худолеев запил и стал буяннить, сводя счеты со всем светом, виноватым, как он был уверен, в его нынешних неурядицах.

Юсупка был сыном дворника Гимазетдина с тиверзинского двора. Тиверзин покровительствовал мальчику в мастерских. Это подогревало в Худолееве неприязнь к нему.

— Как ты напилкок держишь, азиат! — орал Худолеев, таская Юсупку за волосы и костыляя по шее. — Нешто так отливку обдирают? Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, касимовская невеста, алла мулла косые глаза?

— Ай не буду, дяинька, ай не буду, не буду, ай больно!

— Тыщу раз ему сказывали, вперед подведи бабку, а тады завинчивай упор, а он знай свое, знай свое. Чуть мне шпентель не сломал, сукин сын.

— Я шпиндил не трогал, дяинька, ей-богу, не трогал.

— За что ты мальчика тиранишь? — спросил Тиверзин, протиснувшись сквозь толпу.

— Свои собаки грызутся, чужая не подходи, — отрезал Худолеев.

— Я тебя спрашиваю, за что ты мальчика тиранишь?

— А я тебе говорю, проходи с Богом, социал-ко-

мандир. Его убить мало, сволочь этакую, чуть мне шпентель не сломал. Пушай мне руки целует, что жив остался, косой черт, — уши я ему только надрал да за волосы поучил.

— А что же, по-твоему, ему за это надо голову оторвать, дядя Худолей? Постыдился бы, право. Старый мастер, дожил до седых волос, а не нажил ума.

— Проходи, проходи, говорю, покуда цел. Дух из тебя я вышибу — учить меня, собачье гузно! Тебя на шпалах делали, севрюжья кровь, у отца под самым носом. Мать твою, мокрохвостку, я во как знаю, кошку драную, трепаный подол!

Все происшедшее дальше заняло не больше минуты. Оба схватили первое, что подвернулось под руку на подставках станков, на которых валялись тяжелые инструменты и куски железа, и убили бы друг друга, если бы народ в ту же минуту не бросился кучею их разнимать. Худолеев и Тиверзин стояли, нагнув головы и почти касаясь друг друга лбами, бледные, с налившимися кровью глазами. От волнения они не могли выговорить ни слова. Их крепко держали, ухвативши сзади за руки. Минутами, собравшись с силой, они начинали вырываться, извиваясь всем телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у них на одежде пообрывались, куртки и рубахи сползли с оголившихся плеч. Нестройный гам вокруг них не умолкал:

— Зубило! Зубило у него отыми — проломит башку.

— Тише, тише, дядя Петр, вывернем руку!

— Это все так с ними хороводиться? Растащить врозь, посадить под замок — и дело с концом.

Вдруг нечеловеческим усилием Тиверзин стряхнул с себя клубок навалившихся тел и, вырвавшись от них, с разбега очутился у двери. Его кинулись было ловить, но, увидав, что у него совсем не то на уме, оставили в покое. Он вышел, хлопнув дверью, и зашагал вперед не оборачиваясь. Его окружала осенняя сырость, ночь, темнота.

— Ты им стараешься добро, а они норовят тебе нож в ребро, — ворчал он и не сознавал, куда и зачем идет.

Этот мир подлости и подлога, где раззевшаяся ба-рынька смеет так смотреть на дуралеев-тружеников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольствие в глумлении над себе подобным, этот мир был ему сейчас ненавистнее, чем когда-либо. Он шел быстро, словно поспешность его походки могла приблизить время, когда все на свете будет разумно и стройно, как сейчас в его разгоряченной голове. Он знал, что их стремления последних дней, беспорядки на линии, речи на сходках и их решение бастовать, не приведенное пока еще в исполнение, но и не отмененное, — все это отдельные части этого большого и еще предстоящего пути. Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать все это расстояние разом, не переводя дыхания. Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его.

Тиверзин долго не подозревал, что после ухода его и Антипова из землянки на заседании было постановлено приступить к забастовке в этот же вечер. Члены комитета тут же распределили между собой, кому куда идти и кого где снимать. Когда из паровозоремонтного, словно со дна тиверзинской души, вырвался хриплый, постепенно прочищающийся и выравнивающийся сигнал, от входного семафора к городу уже двигалась толпа из депо и с товарной станции, сливаясь с новой толпой, побросавшей работу по тиверзинскому свистку из котельной.

Тиверзин много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движение на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательства к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения.

Выбегали, спрашивали:

— Куда народ свищут?

Из темноты отвечали:

— Небось и сам не глухой. Слышишь — тревога.

Пожар тушить.

— А где горит?

— Стало быть, горит, коли свищут.

Хлопали двери, выходили новые. Раздавались другие голоса:

— Толкуй тоже — пожар! Деревня! Не слушайте дурака. Это называется зашабашили, понял? Вот хомут, вот дуга, я те больше не слуга. По домам, ребята.

Народу все прибывало. Железная дорога забастовала.

7

Тиверзин пришел домой на третий день, продрогший, невыспавшийся и небритый. Накануне ночью грянул мороз, небывалый для таких чисел, а Тиверзин был одет по-осеннему. У ворот встретил его дворник Гимазетдин.

— Спасибо, господин Тиверзин, — зарядил он. — Юсуп обида не давал, заставил век Бога молить.

— Что ты, очумел, Гимазетдин, какой я тебе господин? Брось ты это, пожалуйста. Говори скорее, видишь, мороз какой.

— Зачем мороз, тебе тепло, Савельич. Мы вчерашний день твой мамаша Марфа Гавриловна Москва-Товарная полный сарай дров возили, одна береза, хорошие дрова, сухие дрова.

— Спасибо, Гимазетдин. Ты еще что-то сказать хочешь, скорее, пожалуйста, озяб я, понимаешь.

— Сказать хотел, дома не ночуй, Савельич, хорошо надо. Постовой спрашивал, околоточный спрашивал, кто, говорит, ходит. Я говорю, никто не ходит. Помощник, говорю, ходит, паровозная бригада ходит, железная дорога ходит. А чтобы кто-нибудь чужой — ни-ни!

Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым младшим братом, принадлежал соседней церкви Святой Троицы. Дом этот был заселен некоторою частью причта, двумя артелями фруктовщиков и мясников, торговавших в городе с лотков

вразнос, а по преимуществу мелкими служащими Московско-Брестской железной дороги.

Дом был каменный с деревянными галереями. Они с четырех сторон окружали грязный немощеный двор. Вверх по галереям шли грязные и скользкие деревянные лестницы. На них пахло кошками и квашеной капустой. По площадкам лепились отхожие будки и кладовые под висячими замками.

Брат Тиверзина был призван рядовым на войну и ранен под Вафангоу. Он лежал на излечении в Красноярском госпитале, куда для встречи с ним и принятия его на руки выехала его жена с двумя дочерьми. По томственные железнодорожники Тиверзины были легки на подъем и разъезжали по всей России по даровым служебным удостоверениям. В настоящее время в квартире было тихо и пусто. В ней жили только сын да мать.

Квартира помещалась во втором этаже. Перед входною дверью на галерее стояла бочка, которую наполнил водой водовоз. Когда Киприан Савельич поднялся в свой ярус, он обнаружил, что крышка с бочки сдвинута набок и на обломке льда, сковавшего воду, стоит примерзшая к ледяной корочке железная кружка. «Не иначе Пров, — подумал Тиверзин, усмехнувшись. — Пьет, не напьется, прорва, огненное нутро».

Пров Афанасьевич Соколов, псаломщик, видный и нестарый мужчина, был дальним родственником Марфы Гавриловны.

Киприан Савельевич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул крышку на бочку и дернул ручку дверного колокольчика. Облако жилого духа и вкусного пара двинулось ему навстречу.

— Жарко истопили, маменька. Тепло у нас, хорошо.

Мать бросилась к нему на шею, обняла и заплакала. Он погладил ее по голове, подождал и мягко отстранил.

— Смелость города берет, маменька, — тихо сказал он, — стоит моя дорога от Москвы до самой Варшавы.

— Знаю. Оттого и плачу. Несдобровать тебе. Убраться бы тебе, Купринька, куда-нибудь подальше.

— Чуть мне голову не проломил ваш миленький дружок, любезный пастушок ваш, Петр Петров.

Он думал рассмешить ее. Она не поняла шутки и серьезно ответила:

— Грех над ним смеяться, Купринька. Ты б его пожалел. Отпетый горемыка, погибшая душа.

— Забрали Антипова Пашку. Павла Ферапонтовича. Пришли ночью, обыск, все перебуторили. Утром увели. Тем более Дарья его, тиф это, в больнице. Павлушка малый, в реальном учится, один в доме с теткой глухой. Притом гонят их с квартиры. Я считаю, надо мальчика к нам. Зачем Пров заходил?

— Почем ты знаешь?

— Бочка, вижу, не покрыта и кружка стоит. Обязательно, думаю, Пров бездонный воду хлобыстал.

— Какой ты догадливый, Купринька. Твоя правда. Пров, Пров, Пров Афанасьевич. Забежал попросить дров взаймы — я дала. Да что я, дура, — дрова! Совсем из головы у меня вон, какую он новость принес. Государь, понимаешь, манифест подписал, чтобы все перевернуть по-новому, никого не обижать, мужикам землю и всех сравнять с дворянами. Подписанный указ, ты что думаешь, только обнародовать. Из синода новое прошение прислали, вставить в ектинью, или там какое-то моление заздравное, не хочу врать. Провушка сказывал, да я вот запомятовала.

8

Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтовича и помещенной в больницу Дарьи Филимоновны, поселился у Тиверзиных. Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их по минутно приглаживал щеткою и по минутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал.

Вскоре после Манифеста семнадцатого октября задумана была большая демонстрация от Тверской заставы к Калужской. Это было начинание в духе поговорки «У семи нянек дитя без глаза». Несколько революционных организаций, причастных к затее, перегрызлись между собой и одна за другой от нее отступились, а когда узнали, что в назначенное утро люди все же вышли на улицу, наскоро послали к манифестантам своих представителей.

Несмотря на отговоры и противодействие Киприяна Савельевича, Марфа Гавриловна пошла на демонстрацию с веселым и общительным Патулей.

Был сухой морозный день начала ноября, с серосвинцовым спокойным небом и реденькими, почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво вились, перед тем как упасть на землю и потом серую пушистой пылью забиться в дорожные колдобины.

Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимние пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты.

Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвою пали» и «Марсельезу», но вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами зажатой в руке кубанки дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой мостовой. Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди подстерегают казаки. О готовящейся засаде телефонировали в близлежащую аптеку.

— Так что же, — говорили распорядители. — Тогда главное — хладнокровие и не теряться. Надо немедленно занять первое общественное здание, какое попадется по дороге, объявить людям о грозящей опасности и расходиться поодиночке.

Заспорили, куда будет лучше всего. Одни предлагали в Общество купеческих приказчиков, другие — в Высшее техническое, третьи — в Училище иностранных корреспондентов.

Во время этого спора впереди показался угол казенного здания. В нем тоже помещалось учебное заведение, годившееся в качестве прибежища ничуть не хуже перечисленных.

Когда идущие поравнялись с ним, вожаки поднялись на полукруглую площадку подъезда и знаками остановили голову процессии. Многостворчатые двери входа открылись, и шествие в полном составе, шуба за шубой и шапка за шапкой, стало вливаться в вестибюль школы и подниматься по ее парадной лестнице.

— В актовЫй зал, в актовЫй зал! — кричали сзади единичные голоса, но толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным коридорам и классам.

Когда публику все же удалось вернуть и все расселись на стульях, руководители несколько раз пытались объявить собранию о расставленной впереди ловушке, но их никто не слушал. Остановка и переход в закрытое помещение были поняты как приглашение на импровизированный митинг, который тут же и начался.

Людам после долгого шагания с пением хотелось посидеть немного молча и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием отдыха безразличны были ничтожные разногласия говоривших, почти во всем солидарных друг с другом.

Поэтому наибольший успех выпал на долю наилучшего оратора, не утомлявшего слушателей необходимостью следить за ним. Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним торопились согласиться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста и вдруг, наскучив однообразием его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом толпой

спустились по лестнице и высыпали на улицу. Шестые продолжалось.

Пока митинговали, на улице повалил снег. Мостовые побелели. Снег валил все гуще.

Когда налетели драгуны, этого в первую минуту не подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, как когда толпою кричат «ура». Крики «караул», «убили» и множество других слились во что-то неразличимое. Почти в ту же минуту на волне этих звуков по тесному проходу, образовавшемуся в шарахнувшейся толпе, стремительно и бесшумно пронесли лошадиные морды и гривы и машущие шапками всадники.

Полувзвод проскакал, повернул, перестроился и врезался сзади в хвост шествия. Началось избиение.

Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбежались по переулкам. Снег шел реже. Вечер был сух, как рисунок углем. Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками.

По краю мостовой полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехали несколько конных. Они возвращались с конца улицы, куда их завлекло преследование. Почти под ногами у них металась Марфа Гавриловна в сбившемся на затылок платке и не своим голосом кричала на всю улицу: «Паша! Патуля!»

Он все время шел с ней и забавлял ее, с большим искусством изображая последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда наскочили драгуны. В перделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и хотя ее плотно подбитый ватой шущун не дал ей почувствовать удара, она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся кавалерии, возмущенная тем, как это ее, старуху, осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой.

Марфа Гавриловна бросала взволнованные взгляды по обе стороны мостовой. Вдруг она по счастью увидела мальчика на противоположном тротуаре. Там в углублении между колониальной лавкой и выступом каменного особняка толпилась кучка случайных ротозеев.

Туда загнал их крупом и боками своей лошади драгун, въехавший верхом на тротуар. Его забавлял их ужас, и, загородив им выход, он производил перед их носом манежные вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в цирке, подымал ее на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом возвращающихся товарищей, дал лошади шпоры и в два-три прыжка занял место в их ряду.

Народ, сжатый в закоулке, рассеялся. Паша, раньше боявшийся подать голос, кинулся к бабушке.

Они шли домой. Марфа Гавриловна все время ворчала:

— Смертоубийцы проклятые, окаянные душегубы! Людям радость, царь волю дал, а эти не утерпят. Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку.

Она была зла на драгун, на весь свет кругом и в эту минуту даже на родного сына. В моменты запальчивости ей казалось, что все происходящее сейчас — это все штуки Купринькиных путаников, которых она звала промахами и мудрофелями.

— Злые аспиды! Что им, оглашенным, надо? Никакого понятия! Только бы лаяться да вздорить. А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой помру, ой помру! Ни дать ни взять как вылитый. Тру-ру ру-ру-ру. Ах ты, зуда-жужелица, конская строка!

Дома она накинулась с упреками на сына, не в таких, мол, она летах, чтобы ее конопатый болван вихрастый с коника хлыстом учил по задку.

— Да что вы, ей-богу, маменька! Словно я, право, казачий сотник какой или шейх жандармов.

Николай Николаевич стоял у окна, когда показались бегущие. Он понял, что это с демонстрации, и некоторое время всматривался в даль, не увидит ли среди расходящихся Юры или еще кого-нибудь. Однако знакомых не оказалось, только раз ему почудилось, что быстро прошел этот (Николай Николаевич забыл его имя), сын Дудорова, отчаянный, у которого еще так недавно извлекли пулю из левого плеча и который опять околачивается где не надо.

Николай Николаевич приехал сюда осенью из Петербурга. В Москве у него не было своего угла, а в гостиницу ему не хотелось. Он остановился у Свентицких, своих дальних родственников. Они отвели ему угловой кабинет наверху в мезонине.

Этот двухэтажный флигель, слишком большой для бездетной четы Свентицких, покойные старики Свентицкие с незапамятных времен снимали у князей Долгоруких. Владение Долгоруких с тремя дворами, садом и множеством разбросанных в беспорядке разностильных построек выходило в три переулка и называлось по-старинному Мучным городком.

Несмотря на свои четыре окна, кабинет был темноват. Его загромождали книги, бумаги, ковры и гравюры. К кабинету снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший этот угол здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо заделана на зиму.

В два окна кабинета и стекла балконной двери переулок был виден в длину — убегаящая вдаль санная дорога, криво расставленные домики, кривые заборы.

Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, попожем на сиреневые струйки застывшего стеарина.

Николай Николаевич глядел в переулок и вспоминал прошлогоднюю петербургскую зиму, Гапона, Горького, посещение Витте, модных современных писателей. Из этой кутерьмы он удрал сюда, в тишь да гладь Первопрестольной, писать задуманную им кни-

гу. Куда там! Он попал из огня да в полымя. Каждый день лекции и доклады, не дадут опомниться. То на Высших женских, то в Религиозно-философском, то на Красный Крест, то в Фонд стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона. Мир и ясность над озером, небо и горы, и звучный, всему вторящий, настороженный воздух.

Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь или просто так, без цели, на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец Выволочнов и ему нельзя отлучаться. Он стал расхаживать по комнате. Мысли его обратились к племяннику.

Когда из приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он привез Юру в Москву в родственный круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, Михаелисов, Свентицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно сожительствовал со своей воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ, поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в профессорскую семью Громеко, где он и по сей день находился.

У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера.

«У них там такой триумvirат, — думал Николай Николаевич, — Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на проповеди целомудрия.

Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них заходит ум за разум.

Они страшные чудачки и дети. Область чувственно-го, которая их так волнует, они почему-то называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати

и некстати. Очень неудачный выбор слова! «Пошлость» — это у них и голос инстинкта, и порнографическая литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово!

Если бы я был в Москве, — думал Николай Николаевич, — я бы не дал этому зайти так далеко. Стыд необходим, и в некоторых границах...»

— А, Нил Феоктистович! Милости просим, — воскликнул он и пошел навстречу гостю.

10

В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем. Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивало маленькое пенсне на широкой черной ленте.

Разоблачаясь в прихожей, он не довел дело до конца. Он не снял шарфа, конец которого волочился у него по полу, и в руках у него осталась его круглая войлочная шляпа. Эти предметы стесняли его в движениях и не только мешали Выволочнову пожать руку Николаю Николаевичу, но даже выговорить слова приветствия, здороваясь с ним.

— Э-мм, — растерянно мычал он, осматриваясь по углам.

— Кладите где хотите, — сказал Николай Николаевич, вернув Выволочнову дар речи и самообладание.

Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали.

Выволочнов пришел просить Николая Николаевича выступить в какой-то школе в пользу политических ссыльных.

— Я уже раз читал там.

— В пользу политических?

— Да.

— Придется еще раз.

Николай Николаевич поупрямился и согласился.

Предмет посещения был исчерпан. Николай Николаевич не удерживал Нила Феоктистовича. Он мог подняться и уйти. Но Выволочнову казалось неприличным уйти так скоро. На прощанье надо было сказать что-нибудь живое, непринужденное. Завязался разговор, натянутый и неприятный.

— Декадентствуете? Вдались в мистику?

— То есть это почему же?

— Пропал человек. Земство помните?

— А как же. Вместе по выборам работали.

— За сельские школы ратовали и учительские семинарии. Помните?

— Как же. Жаркие были бои. Вы потом, кажется, по народному здравью подвизались и общественному призрению. Не правда ли?

— Некоторое время.

— Нда. А теперь эти фавны и ненюфары, эфебы и «будем как солнце». Хоть убейте, не поверю. Чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа... Оставьте, пожалуйста... Или, может быть, я вторгаюсь... Что-нибудь сокровенное?

— Зачем бросать наудачу слова, не думая? О чем мы препираемся? Вы не знаете моих мыслей.

— России нужны школы и больницы, а не фавны и ненюфары.

— Никто не спорит.

— Мужик раздет и пухнет от голода...

Такими скачками подвигался разговор. Сознывая наперед никчемность этих попыток, Николай Николаевич стал объяснять, что его сблизжает с некоторыми писателями из символистов, а потом перешел к Толстому.

— До какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич говорит, что чем больше человек отдается красоте, тем больше отдаляется от добра.

— А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное. Розанов и Достоевский?

— Погодите, я сам скажу, что я думаю. Я думаю, что, если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозой, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии — нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна.

— Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали.

Когда ушел Выволочнов, Николаем Николаевичем овладело страшное раздражение. Он был зол на себя за то, что выболтал чурбану Выволочнову часть своих заветных мыслей, не произведя на него ни малейшего впечатления. Как это иногда бывает, досада Николая Николаевича вдруг изменила направление. Он совершенно забыл о Выволочнове, словно его никогда не бывало. Ему припомнился другой случай. Он не вел дневников, но раз или два в году записывал в толстую общую тетрадь наиболее поразившие его мысли. Он вынул тетрадь и стал набрасывать крупным разборчивым почерком. Вот что он записал.

«Весь день вне себя из-за этой дуры Шлезингер. Приходит утром, засиживается до обеда и битых два часа томит чтением этой галиматши. Стихотворный текст символиста А. для космогонической симфонии композитора Б. с духами планет, голосами четырех стихий и прочая и прочая. Я терпел, терпел и не выдержал, взмолился, что, мол, не могу, увольте.

Я вдруг все понял. Я понял, отчего это всегда так убийственно нестерпимо и фальшиво даже в Фаусте. Это деланный, ложный интерес. Таких запросов нет у современного человека. Когда его одолевают загадки

Вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Гезиода.

Но дело не только в устарелости этих форм, в их анахронизме. Дело не в том, что эти духи огня и воды вновь неярко запутывают то, что ярко распутано наукою. Дело в том, что этот жанр противоречит всему духу нынешнего искусства, его существу, его побудительным мотивам.

Эти космогонии были естественны на старой земле, заселенной человеком так редко, что он не заслонял еще природы. По ней еще бродили мамонты и свежи были воспоминания о динозаврах и драконах. Природа так явно бросалась в глаза человеку и так хищно и ощутительно — ему в загривок, что, может быть, в самом деле все было еще полно богов. Это самые первые страницы летописи человечества, они только еще начинались.

Этот древний мир кончился в Риме от перенаселения.

Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложство, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали.

И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда, лепные парадные в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан, перед рестораном — газовые фанари в круглых матовых колпаках на массивных кронштейнах.

Зимой это место хмурилось с мрачной неприступностью. Здесь жили серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий.

Здесь снимал роскошную холостяцкую квартиру во втором этаже по широкой лестнице с широкими дубовыми перилами Виктор Ипполитович Комаровский. Заботливо во все вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его экономка, нет — кастелянша его тихого уединения, вела его хозяйство, неслышимая и незримая, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене, и не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, не совместимых с ее безмятежным стародевическим миром. У них царил покой монашеской обители — шторы опущены, ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной.

По воскресеньям перед обедом Виктор Ипполитович имел обыкновение фланировать со своим бульдогом по Петровке и Кузнецкому, и на одном из углов выходил и присоединялся к ним Константин Илларионович Сатаниди, актер и картежник.

Они пускались вместе шлифовать панели, перекидывались короткими анекдотами и замечаниями — настолько отрывистыми, незначительными и полными такого презрения ко всему на свете, что без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием, лишь бы наполнять оба тротуара Кузнецкого своими громкими, бесстыдно задыхающимися и как бы давящимися своей собственной вибрацией басами.

12

Погода перемогалась. «Кап-кап-кап» — долбили капли по железу водосточных труб и карнизов. Крыша перестукивалась с крышею, как весною. Была оттепель.

Всю дорогу она шла, как невменяемая, и только по приходе домой поняла, что случилось.

Дома все спали. Она опять впала в оцепенение и в этой рассеянности опустила перед маминым туалетным столиком в светло-сиреновом, почти белом платье с кружевной отделкой и длинной вуали, взятыми на один вечер в мастерской, как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не видела. Потом положила скрещенные руки на столик и упала на них головою.

Если мама узнает, она убьет ее. Убьет и покончит с собой.

Как это случилось? Как могло это случиться? Теперь поздно. Надо было думать раньше.

Теперь она — как это называется? — теперь она — падшая. Она — женщина из французского романа и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по сравнению с ней еще грудные дети. Господи, Господи, как это могло случиться!

Когда-нибудь, через много-много лет, когда можно будет, Лара расскажет это Оле Деминой. Оля обнимет ее за голову и разревется.

За окном лепетали капли, заговаривалась оттепель. Кто-то с улицы дубасил в ворота к соседям. Лара не поднимала головы. У нее вздрагивали плечи. Она плакала.

13

— Ах, Эмма Эрнестовна, это, милочка, неважно. Это надоело.

Он расшвыривал по ковру и дивану какие-то вещи, манжеты и манишки и вдвигал и выдвигал ящики комода, не соображая, что ему надо.

Она требовалась ему дозарезу, а увидеть ее в это воскресенье не было возможности. Он метался как зверь по комнате, нигде не находя себе места.

Она была бесподобна прелестью одухотворения. Ее руки поражали, как может удивлять высокий образ мыслей. Ее тень на обоях номера казалась силуэтом ее неиспорченности. Рубашка обтягивала ей грудь простодушно и туго, как кусок холста, натянутый на пальцы.

Комаровский барабанил пальцами по оконному стеклу, в такт лошадям, неторопливо цокавшим внизу по асфальту проезда. «Лара», — шептал он и закрывал глаза, и ее голова мысленно появлялась в руках у него, голова спящей с опущенными во сне ресницами, не ведающая, что на нее бессонно смотрят часами без отрыва. Шапка ее волос, в беспорядке разметанная по подушке, дымом своей красоты ела Комаровскому глаза и проникала в душу.

Его воскресная прогулка не удалась. Комаровский сделал с Джеком несколько шагов по тротуару и остановился. Ему представились Кузнецкий, шутки Сатаниды, встречный поток знакомых. Нет, это выше его сил! Как это все опротивело! Комаровский повернул назад. Собака удивилась, остановила на нем неодобрительный взгляд с земли и неохотно поплелась сзади.

«Что за наваждение! — думал он. — Что все это значит? Что это — проснувшаяся совесть, чувство жалости или раскаяния? Или это — беспокойство?» Нет, он знает, что она дома у себя и в безопасности. Так что же она не идет из головы у него!

Комаровский вошел в подъезд, дошел по лестнице до площадки и обогнул ее. На ней было венецианское окно с орнаментальными гербами по углам стекла. Цветные зайчики падали с него на пол и подоконник. На половине второго марша Комаровский остановился.

Не поддаваться этой мытарящей, сосущей тоске! Он не мальчик, он должен понимать, что с ним будет, если из средства развлечения эта девочка, дочь его покойного друга, этот ребенок, станет предметом его помешательства. Опомнитесь! Быть верным себе, не изменять своим привычкам. А то все полетит прахом.

Комаровский до боли сжал рукой широкие перила, закрыл на минуту глаза и, решительно повернув назад, стал спускаться. На площадке с зайчиками он перехватил обожающий взгляд бульдога. Джек смотрел на него снизу, подняв голову, как старый слюнявый карлик с отвислыми щеками.

Собака не любила девушки, рвала ей чулки, рычала на нее и скалилась. Она ревновала хозяина к Ларе, словно боясь, как бы он не заразился от нее чем-нибудь человеческим.

— Ах, так вот оно что! Ты решил, что все будет по-прежнему — Сатаниди, подлости, анекдоты? Так вот тебе за это, вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Он стал избивать бульдога тростью и ногами. Джек вырвался, воя и взвизгивая, и с трясущимся задом заковылял вверх по лестнице скрестись в дверь и жаловаться Эмме Эрнестовне.

Проходили дни и недели.

14

О какой это был заколдованный круг! Если бы вторжение Комаровского в Ларину жизнь возбуждало только ее отвращение, Лара взбунтовалась бы и вырвалась. Но дело было не так просто.

Девочке льстило, что годящийся ей в отцы красивый, седеющий мужчина, которому аплодируют в собраниях и о котором пишут в газетах, тратит деньги и время на нее, зовет божеством, возит в театры и на концерты и, что называется, «умственно развивает» ее.

И ведь она была еще незрелую гимназисткой в коричневом платье, тайной участницей невинных школьных заговоров и проказ. Ловеласничанье Комаровского где-нибудь в карете под носом у кучера или в укромной аванложе на глазах у целого театра пленяло ее неразоблаченной дерзостью и побуждало просыпавшегося в ней бесенка к подражанию.

Но этот озорной, школьнический задор быстро проходил. Ноющая надломленность и ужас перед собой

надолго укоренялись в ней. И все время хотелось спать. От недоспанных ночей, от слез и вечной головной боли, от заучивания уроков и общей физической усталости.

15

Он был ее проклятием, она его ненавидела. Каждый день она перебирала эти мысли заново.

Теперь она на всю жизнь его невольница. Чем он закабалил ее? Чем вымогает ее покорность, а она сдается, угождает его желаниям и услаждает его дрожью своего неприкрашенного позора? Своим старшинством, маминой денежной зависимостью от него, умелым ее, Лары, запугиванием? Нет, нет и нет. Все это вздор.

Не она в подчинении у него, а он у нее. Разве не видит она, как он томится по ней? Ей нечего бояться, ее совесть чиста. Стыдно и страшно должно быть ему, если она уличит его. Но в том-то и дело, что она никогда этого не сделает. На это у нее не хватит подлости, главной силы Комаровского в обращении с подчиненными и слабыми.

Вот в чем их разница. Этим и страшна жизнь кругом. Чем она оглушает, громом и молнией? Нет, косыми взглядами и шепотом оговора. В ней все подвох и двусмысленность. Отдельная нитка, как паутинка, протянул — и нет ее, а попробуй выбраться из сети — только больше запутаешься.

И над сильным властвует подлый и слабый.

16

Она говорила себе: а если бы она была замужем? Чем бы это отличалось? Она вступила на путь софизмов. Но иногда тоска без исхода охватывала ее.

Как ему не стыдно валяться в ногах у нее и умолять: «Так не может продолжаться. Подумай, что я с тобой

сделал. Ты катишься по наклонной плоскости. Давай откроемся матери. Я женюсь на тебе».

И он плакал и настаивал, словно она спорила и не соглашалась. Но все это были одни фразы, и Лара даже не слушала этих трагических пустозвонных слов.

И он продолжал водить ее под длинную вуалью в отдельные кабинеты этого ужасного ресторана, где лакеи и закусывающие провожали ее взглядами и как бы раздевали. И она только спрашивала себя: разве когда любят, унижают?

Однажды ей снилось. Она под землей, от нее остался только левый бок с плечом и правая ступня. Из левого соска у нее растет пучок травы, а на земле поют «Черные очи да белая грудь» и «Не велят Маше за реченьку ходить».

17

Лара не была религиозна. В обряды она не верила. Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинять для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь.

Раз в начале декабря, когда на душе у Лары было, как у Катерины из «Грозы», она пошла помолиться с таким чувством, что вот теперь земля расступится под ней и обрушатся церковные своды. И поделом. И все му будет конец. Жаль только, что она взяла с собой Олю Демину, эту трешотку.

— Пров Афанасьевич, — шепнула ей Оля на ухо.

— Тсс. Отстань, пожалуйста. Какой Пров Афанасьевич?

— Пров Афанасьевич Соколов. Наш троюродный дядюшка. Который читает.

А, это она про псаломщика. Тиверзинская родня.

— Тсс. Замолчи. Не мешай мне, пожалуйста.

Они пришли к началу службы. Пели псалом: «Бла-

гослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его».

В церкви было пустовато и гулко. Лишь впереди тесной толпой сбились молящиеся. Церковь была новой стройки. Нерасцветенное стекло оконницы ничем не скрашивало серого заснеженного переулка и проехих и проезжих, которые по нему сновали. У этого окна стоял церковный староста и громко, на всю церковь, не обращая внимания на службу, вразумлял какую-то глуховатую юродивую оборванку, и его голос был того же казенного будничного образца, как окно и переулок.

Пока, медленно обходя молящихся, Лара с зажатыми в руке медяками шла к двери за свечками для себя и Оли и так же осторожно, чтобы никого не толкнуть, возвращалась назад, Пров Афанасьевич успел отбарабанить девять блаженств как вещь, и без него всем хорошо известную.

Блажени нищие духом... Блажени плачущие... Блажени алчущие и жаждущие правды...

Лара шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит: завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение.

18

Были дни Пресни. Они оказались в полосе восстания. В нескольких шагах от них на Тверской строили баррикаду. Ее было видно из окна гостиной. С их двора таскали туда ведрами воду и обливали баррикаду, чтобы связать ледяной броней камни и лом, из которых она состояла.

На соседнем дворе было сборное место дружинников, что-то вроде врачебного или питательного пункта.

Туда проходили два мальчика. Лара знала обоих. Один был Ника Дудоров, приятель Нади, у которой Лара с ним познакомилась. Он был Лариного десят-

ка — прямой, гордый и неразговорчивый. Он был похож на Лару и не был ей интересен.

Другой был реалист Антипов, живший у старухи Тиверзиной, бабушки Оли Деминой. Бывая у Марфы Гавриловны, Лара стала замечать, какое действие она производит на мальчика. Паша Антипов был так еще младенчески прост, что не скрывал блаженства, которое доставляли ему ее посещения, словно Лара была какая-нибудь березовая роща в каникулярное время — с чистою травой и облаками, и можно было беспрепятственно выражать свой телячий восторг по ее поводу, не боясь, что за это засмеют.

Едва заметив, какое она на него оказывает влияние, Лара бессознательно стала этим пользоваться. Впрочем, более серьезным приручением мягкого и податливого характера она занялась через несколько лет, в гораздо более позднюю пору своей дружбы с ним, когда Патуля уже знал, что любит ее без памяти и что в жизни ему нет больше отступления.

Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр, в войну, притом в такую, за участие в которой вешали и ссылали. Но концы башлыков были у них завязаны сзади такими узлами, что это обличало в них детей и обнаруживало, что у них есть еще папы и мамы. Лара смотрела на них, как большая на маленьких. Налет невинности лежал на их опасных забавах. Тот же отпечаток сообщался от них всему остальному. Морозному вечеру, поросшему таким косматым инеем, что вследствие густоты он казался не белым, а черным. Синему двору. Дому напротив, где скрывались мальчики. И главное, главное — револьверным выстрелам, все время шелкавшим оттуда. «Мальчики стреляют, — думала Лара. Она думала так не о Нике и Патуле, но обо всем стрелявшем городе. — Хорошие, честные мальчики, — думала она. — Хорошие, оттого и стреляют».

Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь из пушки и что их дом в опасности. О переходе куда-нибудь к знакомым в другую часть Москвы поздно было думать, их район был оцеплен. Надо было приискать угол поближе, внутри круга. Вспомнили о «Черногории».

Выяснилось, что они не первые. В гостинице все было занято. Многие оказались в их положении. По старой памяти их обещали устроить в бельевой.

Собрали самое необходимое в три узла, чтобы не привлекать внимания чемоданами, и стали со дня на день откладывать переход в гостиницу.

Ввиду патриархальных нравов, царивших в мастерской, в ней до последнего времени продолжали работать, несмотря на забастовку. Но вот как-то в холодные, скучные сумерки с улицы позвонили. Вошел кто-то с претензиями и упреками. На парадное потребовали хозяйку. В переднюю унимать страсти вышла Фаина Силантьевна.

— Сюда, девоньки! — вскоре позвала она туда мастериц и по очереди стала всех представлять вошедшему.

Он с каждою отдельно поздоровался за руку прочувствованно и неуклюже и ушел, о чем-то уговорившись с Фетисовой.

Вернувшись в зал, мастерицы стали повязываться шальями и вскидывать руки над головами, продевая их в рукава тесных шубеек.

— Что случилось? — спросила подросевшая Амалия Карловна.

— Нас сымают, мадам. Мы забастовали.

— Разве я... Что я вам сделала плохого? — Мадам Гишар расплакалась.

— Вы не расстраивайтесь, Амалия Карловна. У нас зла на вас нет, мы очень вами благодарны. Да ведь разговор не об вас и об нас. Так теперь у всех, весь свет. А нешто супротив него возможно?

Все разошлись до одной, даже Оля Демина и Фаина

Силантьевна, шепнувшая на прощание хозяйке, что инсценирует эту стачку для пользы владелицы и заведения. А та не унималась:

— Какая черная неблагодарность! Подумай, как можно ошибаться в людях! Эта девчонка, на которую я потратила столько души! Ну хорошо, допустим, это ребенок. Но эта старая ведьма!

— Поймите, мамочка, они не могут сделать для вас исключения, — утешала ее Лара. — Ни у кого нет озлобления против вас. Наоборот. Все, что происходит сейчас кругом, делается во имя человека, в защиту слабых, на благо женщин и детей. Да, да, не качайте так недоверчиво головой. От этого когда-нибудь будет лучше мне и вам.

Но мать ничего не понимала.

— Вот так всегда, — говорила она, всхлипывая. — Когда мысли и без того путаются, ты ляпнешь что-нибудь такое, что только вылупишь глаза. Мне гадят на голову, и выходит, что это в моих интересах. Нет, верно, правда выжила я из ума.

Родя был в корпусе. Лара с матерью одни слонялись по пустому дому. Неосвященная улица пустыми глазами смотрела в комнаты. Комнаты отвечали тем же взглядом.

— Пойдемте в номера, мамочка, пока не стемнело. Слышите, мамочка? Не откладывая, сейчас.

— Филат, Филат! — позвали они дворника. — Филат, проводи нас, голубчик, в «Черногорию».

— Слушаюсь, барыня.

— Захватишь узлы, и вот что, Филат, присматривай тут, пожалуйста, пока суд да дело. И зерна и воду не забывай Кириллу Модестовичу. И все на ключ. Да, и, пожалуйста, навевывайся к нам.

— Слушаюсь, барыня.

— Спасибо, Филат. Спаси тебя Христос. Ну, присядем на прощание, и с богом.

Они вышли на улицу и не узнали воздуха, как после долгой болезни. Морозное, как под орех разделанное пространство, легко перекатывало во все стороны круглые, словно на токарне выточенные, гладкие звуки.

Чмокали, шмякали и шлепались залпы и выстрелы, расшибая дали в лепешку.

Сколько ни разуверял их Филат, Лара и Амалия Карловна считали эти выстрелы холостыми.

— Ты, Филат, дурачок. Ну ты сам посуди, как не холостые, когда не видно, кто стреляет. Кто же это, по-твоему, святой дух стреляет, что ли? Разумеется, холостые.

На одном из перекрестков их остановил сторожевой патруль. Их обыскали, нагло оглаживая их с ног до головы, ухмыляющиеся казаки. Бескозырки на ремешках были лихо сдвинуты у них на ухо. Все они казались одноглазыми.

Какое счастье! — думала Лара. Она не увидит Комаровского все то время, что они будут отрезаны от остального города! Она не может развязаться с ним благодаря матери. Она не может сказать: мама, не прини-майте его. А то все откроется. Ну и что же? А зачем этого бояться? Ах, боже, да пропади все пропадом, только бы конец. Господи, Господи, Господи! Она сейчас упадет без чувств посреди улицы от омерзения. Что она сейчас вспомнила?! Как называлась эта страшная картина с толстым римлянином в том первом отдельном кабинете, с которого все началось? «Женщина или ваза». Ну как же. Конечно. Известная картина. «Женщина или ваза». И она тогда еще не была женщиной, чтобы равняться с такой драгоценностью. Это пришло потом. Стол был так роскошно сервирован.

— Куда ты как угорелая? Не угнаться мне за тобой, — плакала сзади Амалия Карловна, тяжело дыша и еле за ней поспевая.

Лара шла быстро. Какая-то сила несла ее, словно она шагала по воздуху, гордая, воодушевляющая сила.

«О как задорно щелкают выстрелы, — думала она. — Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. Дай вам бог здоровья, выстрелы! Выстрелы, выстрелы, вы того же мнения!»

Дом братьев Громеко стоял на углу Сивцева Вражка и другого переулка. Александр и Николай Александровичи Громеко были профессора химии, первый — в Петровской академии, а второй — в университете. Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденной Крюгер, дочери фабриканта-железодельца и владельца заброшенных бездоходных рудников на принадлежавшей ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале.

Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна.

Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты.

В январе тысяча девятьсот шестого года, вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, в Сивцевом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского.

Приготовления начались накануне. Передвигали мебель, освобождая зал. В углу тянул по сто раз одну и ту же ноту и разбежался бисерными арпеджиями настройщик. На кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и салатов.

С утра пришла надоедать Шура Шлезингер, закадычный друг Анны Ивановны, ее поверенная.

Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке набекрень, в которой она оставалась в гостях, лишь слегка приподнятая приколотую к ней вуальку.

В периоды горестей и хлопот беседы подруг принесли им обоюдное облегчение. Облегчение это заключалось в том, что Шура Шлезингер и Анна Ивановна говорили друг другу колкости все более язвительного свойства. Разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих, как пиявки от прилива крови.

Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужей тотчас по разводе и придавала им так мало значения, что во всех своих повадках сохраняла холодную подвижность одинокой.

Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно знала ход православного богослужения, что даже *toute transportée*¹, в состоянии полного экстаза не могла утерпеть, чтобы не подсказывать священнослужителям, что им говорить или петь. «Услыши, Господи», «иже на всякое время», «честнейшую херувим», — все время слышалась ее хриплая срывающаяся скороговорка.

Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведение, адреса крупнейших профессоров Московской консерватории, кто с кем живет, и бог ты мой, чего она только не знала. Поэтому ее приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях жизни.

В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц, Фуфковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и когда отворяли парадное, воздух путано несся мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холо-

¹ В восторге. (Здесь и далее с французского.)

да в болтающихся на ногах глубоких ботиках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увальней, а их посвежевшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад пуховых платках на заиндевевших волосах, наоборот, изображали прожженных шельм, само коварство, пальца в рот не кладут. «Племянник Кюи», — пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист.

Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, стойком увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале рядами. «Племянник Кюи», — возобновился шепот, когда пианист занял свое место за инструментом. Концерт начался.

Про сонату знали, что она скучная и вымученная, головная. Она оправдала ожидания, да к тому же еще оказалась страшно растянутой.

Об этом в перерыве спорили критик Керимбеков с Александром Александровичем. Критик ругал сонату, а Александр Александрович защищал. Кругом курили и шумели, передвигая стулья с места на место.

Но опять взгляды упали на сиявшую в соседней комнате глаженую скатерть. Все предложили продолжать концерт без промедления.

Пианист покосился на публику и кивнул партнерам, чтобы начинали. Скрипач и Тышкевич взмахнули смычками. Трио зарыдало.

Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громеко, сидели в третьем ряду.

— Вам Егоровна знаки делает, — шепнул Юра Алек-

сандру Александровичу, сидевшему прямо перед его стулом.

На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громеко, и отчаянными взглядами в Юрину сторону и столь же решительными вымахами головы в сторону Александра Александровича давала Юре понять, что ей срочно надо хозяина.

Александр Александрович повернул голову, укоризненно взглянул на Егоровну и пожал плечами. Но Егоровна не унималась. Вскоре между ними из одного конца зала в другой завязалось объяснение, как между глухонемыми. В их сторону смотрели. Анна Ивановна метала на мужа уничтожающие взгляды.

Александр Александрович встал. Надо было что-нибудь предпринять. Он покраснел, тихо под углом обошел зал и подошел к Егоровне.

— Как вам не стыдно, Егоровна! Что это вам, право, приспичило? Ну, скорее, что случилось?

Егоровна что-то зашептала ему.

— Из какой Черногории?

— Номера.

— Ну так что же?

— Безотлагательно требуют. Какие-то ихние кончаются.

— Уж и кончаются. Воображаю. Нельзя, Егоровна. Вот доиграют кусочек, и скажу. А раньше нельзя.

— Номерной дожидается. И то же самое извозчик. Я вам говорю, помирает человек, понимаете? Господского звания дама.

— Нет и нет. Великое дело пять минут, подумаешь.

Александр Александрович тем же тихим шагом вдоль стены вернулся на свое место и сел, хмурясь и растирая переносицу.

После первой части он подошел к исполнителям и, пока гремели рукоплескания, сказал Фадею Казимировичу, что за ним приехали, какая-то неприятность и музыку придется прекратить. Потом движением ладоней, обращенных к залу, Александр Александрович остановил аплодисменты и громко сказал:

— Господа. Трио придется приостановить. Выра-

зим сочувствие Фадею Казимировичу. У него огорчение. Он вынужден нас покинуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. Мое присутствие, может быть, будет ему необходимо. Я поеду с ним. Юрочка, выйди, голубчик, скажи, чтобы Семен подавал к подъезду, у него давно заложено. Господа, я не прощаюсь. Всех прошу оставаться. Отсутствие мое будет кратковременно.

Мальчики запросились прокатиться с Александром Александровичем ночью по морозу.

21

Несмотря на нормальное течение восстановившейся жизни, после декабря все еще постреливали где-нибудь, и новые пожары, какие бывают постоянно, казались догорающими остатками прежних.

Никогда еще они не ехали так далеко и долго, как в эту ночь. Это было рукой подать — Смоленский, Новинский и половина Садовой. Но зверский мороз с туманом разобщал отдельные куски свихнувшегося пространства, точно оно было не одинаковое везде на свете. Косматый, рваный дым костров, скрип шагов и визг полозьев способствовали впечатлению, будто они едут уже бог знает как давно и заехали в какую-то ужающую даль.

Перед гостиницей стояла накрытая попоной лошадь с забинтованными бабками, впряженная в узкие щегольские сани. На месте для седоков сидел лихач, облапив замотанную голову руками в рукавицах, чтобы согреться.

В вестибюле было тепло, и за перилами, отделявшими вешалку от входа, дремал, громко всхрапывал и сам себя этим будил швейцар, усыпленный шумом вентилятора, гуденьем топящейся печки и свистом кипящего самовара.

Налево в вестибюле перед зеркалом стояла накрашенная дама с пухлым, мучнистым от пудры лицом. На ней был меховой жакет, слишком воздушный для

такой погоды. Дама кого-то дожидалась сверху и, повернувшись спиной к зеркалу, оглядывала себя то через правое, то через левое плечо, хороша ли она сзади.

В дверь с улицы просунулся озябший лихач. Формою кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а валивший от него клубами пар еще усиливал это сходство.

— Скоро ли они там, мамзель? — спросил он даму у зеркала. — С вашим братом свяжешься, только лошадь судить.

Случай в двадцать четвертом был мелочью в обычном каждодневном озлоблении прислуги. Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, указуя, где и под каким номером сходят с ума и, сами не зная, чего хотят, не дают покоя коридорным.

Теперь эту старую дуру Гишарову отпаивали в двадцать четвертом, давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок. Горничная Глаша сбилась с ног, подтирая там пол и вынося грязные и внося чистые ведра. Но нынешняя буря в официантской началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине и не посылали Терешку на извозчике за доктором и за этою несчастною пиликалкой, когда не приезжал еще Комаровский и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего народу, затрудняя движение.

Сегодняшний сыр-бор загорелся в людской оттого, что днем кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысой в тот самый момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из двери в коридор с полным подносом на правой, поднятой сверху руке. Сысой грохнул поднос, пролил суп и разбил посуду, три глубокие тарелки и одну мелкую.

Сысой утверждал, что это судомойка, с нее и спрос, с нее и вычет. Теперь была ночь, одиннадцатый час, половине скоро расходиться с работы, а у них до сих пор все еще шла по этому поводу перепалка.

— Руки-ноги дрожат, только и забот — день и ночь обнявшись с косушкой, как с женой; нос себе налкал

инда как селезень, а потом — зачем толкали его, побили ему посуду, пролили уху! Да кто тебя толкал, косо́й черт, нечистая сила? Кто толкал тебя, грыжа астраханская, бесстыжие глаза?

— Я вам сказывал, Матрена Степановна, — придерживайтесь выраженьев.

— Добро бы что-нибудь стоящее, ради чего шум и посуду бить, а то какая невидаль, мадам Продам, недо-трога бульварная, от хороших дедов мышьяку хватила, отставная невинность. В черногорских номерах жили, не видали шилохвосток и кобелей.

Миша и Юра похаживали по коридору перед дверью номера. Все ведь вышло не так, как предполагал Александр Александрович. Он представлял себе — виолончелист, трагедия, что-нибудь достойное и чисто-плотное. А это черт знает что. Грязь, скандальное что-то и абсолютно не для детей.

Мальчики топтались в коридоре.

— Вы войдите к тетеньке, молодые господа, — во второй раз неторопливым тихим голосом убеждал подошедший к мальчикам коридорный. — Вы войдите, не сумлевайтесь. Они ничего, будьте покойны. Они теперь в полной цельности. А тут нельзя стоять. Тут нынче было несчастье, кокнули дорогую посуду. Видите — обслуживаем, бегаем, теснота. Вы войдите.

Мальчики послушались.

В номере горящую керосиновую лампу вынули из резервуара, в котором она висела над обеденным столом, и перенесли за дощатую перегородку, вонявшую клопами, на другую половину номера.

Там был спальный закоулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе ее забывали опускать. Ее пола была закинута за верхний край перегородки. Лампа стояла в алькове на скамье. Этот угол был резко озарен снизу словно светом театральной рампы.

Травились йодом, а не мышьяком, как ошибочно язвила судомойка. В номере стоял терпкий, вяжущий запах молодого грецкого ореха в неотверделой зеленой кожуре, чернеющей от прикосновения.

За перегородкой девушка подтирала пол и, громко плача и свесив над тазом голову с прядями слипшихся волос, лежала на кровати мокрая от воды, слез и пота полуголая женщина. Мальчики тотчас же отвели глаза в сторону, так стыдно и непорядочно было смотреть туда. Но Юру успело поразить, как в некоторых неудобных, вздыбленных позах, под влиянием напряжений и усилий, женщина перестает быть тем, чем ее изображает скульптура, и становится похожа на обнаженного борца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания.

Наконец-то за перегородкой догадались опустить занавеску.

— Фадей Казимирович, милый, где ваша рука? Дайте мне вашу руку, — давясь от слез и тошноты, говорила женщина. — Ах, я перенесла такой ужас! У меня были такие подозрения! Фадей Казимирович... Мне вообразилось... Но по счастью оказалось, что все это глупости, мое расстроенное воображение. Фадей Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате... И вот... И вот я жива.

— Успокойтесь, Амалия Карловна, умоляю вас, успокойтесь. Как это все неудобно получилось, честное слово, неудобно.

— Сейчас поедem домой, — буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям.

Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей, на пороге неотгороженной части номера и, так как им некуда было девать глаза, смотрели в его глубину, откуда унесена была лампа. Там стены были увешаны фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать.

Их приезд был бессмыслицей, их дальнейшее присутствие здесь — неприличием.

— Сейчас поедem, — еще раз повторил Александр

Александрович. — Вот только Фадей Казимирович выйдет. Я прошусь с ним.

Но вместо Фадея Казимировича из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, ослепший и уверенный в себе человек. Над головою он нес лампу, вынутую из резервуара. Он прошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар. Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась.

При виде незнакомца Миша весь встрепенулся и так и впился в него глазами. Он дергал Юру за рукав, пытаясь что-то сказать ему.

— Как тебе не стыдно шептаться у чужих? Что о тебе подумают? — останавливал его Юра и не желал слушать.

Тем временем между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами. Но взаимное понимание их было пугающе волшебным, словно он был кукольником, а она послушною движением его руки марионеткой.

Улыбка усталости, появившаяся у нее на лице, заставляла девушку полузакрывать глаза и наполовину разжимать губы. Но на насмешливые взгляды мужчины она отвечала лукавым подмигиванием сообщницы. Оба были довольны, что все обошлось так благополучно, тайна не раскрыта и травившаяся осталась жива.

Юра пожирал обоих глазами. Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел не отрываясь в освещенный лампою круг. Зрелище порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззащитно откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него. У Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы.

Это было то самое, о чем они так горячо год продолнили с Мишей и Тоней под ничего не значащим именем пошлости, то пугающее и притягивающее, с чем они так легко справлялись на безопасном расстоянии на словах, и вот эта сила находилась перед Юри-

ными глазами, досконально вещественная и смутная и снящаяся, безжалостно разрушительная и жалующаяся и зовущая на помощь, и куда девалась их детская философия и что теперь Юре делать?

— Знаешь, кто этот человек? — спросил Миша, когда они вышли на улицу. Юра был погружен в свои мысли и не отвечал. — Это тот самый, который спайвал и погубил твоего отца. Помнишь, в вагоне, — я тебе рассказывал.

Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В первый момент он даже не понял, что говорит ему Миша. На морозе было трудно разговаривать.

— Замерз, Семен? — спросил Александр Александрович.

Они поехали.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЕЛКА У СВЕНТИЦКИХ

1

Как-то зимой Александр Александрович подарил Анне Ивановне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь. Его привезли в разобранном виде, внесли по частям в дом и стали думать, куда бы его поставить. В нижние комнаты, где было просторнее, он не годился по несоответствию назначения, а наверху не помещался вследствие тесноты. Для гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев.

Собирать гардероб пришел дворник Маркел. Он привел с собой шестилетнюю дочь Марийку. Марийке дали палочку ячменного сахара. Марийка засопела носом и, облизывая леденец и заслюнявленные пальчики, насупленно смотрела на отцову работу.



Некоторое время все шло как по маслу. Шкап постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только осталось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркелу. Она стала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах. Распусковой узел, которым Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с досками, грохнувшимися на пол, упала на спину и Анна Ивановна и при этом больно расшиблась.

— Эх, матушка-барыня, — приговаривал кинувшийся к ней Маркел, — и чего ради это вас угораздило, сердешная. Кость-то цела? Вы пощупайте кость. Главное дело кость, а мякиш наплевать, мякиш дело наживное и, как говорится, только для дамского блезиру. Да не реви ты, ирод, — напускался он на плакавшую Марийку. — Утри сопли да ступай к мамке. Эх, матушка-барыня, нужли б я без вас этой платейной антимонии не обосновал? Вот вы, верно, думаете, будто на первый взгляд я действительно дворник, а ежели правильно рассудить, то природная наша статья столярная, столярничали мы. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов-буфетов, через наши руки прошло в смысле лака или, наоборот, какое дерево красное, какое орех. Или, например, какие, бывало, партии в смысле богатых невест, так, извините за выражение, мимо носа и плывут, так и плывут. А всему причина — питейная статья, крепкие напитки.

Анна Ивановна с помощью Маркела добралась до кресла, которое он ей подкатил, и села, кряхтя и растеряв ушибленное место. Маркел принялся за восстановление разрушенного. Когда крышка была наложена, он сказал:

— Ну, теперь только дверцы, и хоть на выставку.

Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей суеверный ужас. Она дала гардеробу прозвище «Аскольдова могила». Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня, вещь, приносящую смерть своему хозяину. Как женщина

беспорядочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия.

С этого падения началось предрасположение Анны Ивановны к легочным заболеваниям.

2

Весь ноябрь одиннадцатого года Анна Ивановна пролежала в постели. У нее было воспаление легких.

Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и Высшие женские курсы. Юра кончал медиком, Тоня — юристкой, а Миша — филологом по философскому отделению.

В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно — взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию.

Но как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общепольным. Вот он и пошел по медицине.

Будучи четыре года тому назад на первом курсе, он целый семестр занимался в университетском подzemелье анатомией на трупах. Он по загибающейся лестнице спускался в подвал. В глубине анатомического театра группами и порознь толпились взлохмаченные студенты. Одни зубрили, обложившись костями и перелистывая трепанные, истлевшие учебники, другие молча анатомировали по углам, третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись за крысами, в большом количестве бегавшими по каменному полу мертвецкой. В ее полутьме светились, как фосфор, бросающиеся в глаза голизною трупы неизвестных, молодые самоубийцы с неустановленной личностью, хорошо сохранившиеся и еще не тронувшиеся утопленницы. Впрыс-

нутые в них соли глинозема молодили их, придавая им обманчивую округлость. Мертвецов вскрывали, разнимали и препарировали, и красота человеческого тела оставалась верной себе при любом, сколь угодно мелком делении, так что удивление перед какой-нибудь целиком грубо брошенной на оцинкованный стол ручалкою не проходило, когда переносилось с нее к ее отнятой руке или отсеченной кисти. В подвале пахло формалином и карболкой, и присутствие тайны чувствовалось во всем, начиная с неизвестной судьбы всех этих простертых тел и кончая самой тайной жизни и смерти, располагавшейся здесь, в подвале, как у себя дома или как на своей штаб-квартире.

Голос этой тайны, заглушая все остальное, преследовал Юру, мешая ему при анатомировании. Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и отвлекающая помеха не беспокоила его.

Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделялся вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине.

Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредметных, праздных и ненужных.

Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера.

Николай Николаевич жил в Лозанне. В книгах, выпущенных им там по-русски и в переводах, он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти. Душою этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием — новая идея искусства.

Еще больше, чем на Юру, действовал круг этих

мыслей на его приятеля. Под их влиянием Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию.

Юру дядино влияние двигало вперед и освобождало, а Мишу — сковывало. Юра понимал, какую роль в крайностях Мишиных увлечений играет его происхождение. Из бережной тактичности он не отговаривал Мишу от его странных планов. Но часто ему хотелось видеть Мишу эмпириком, более близким к жизни.

3

Как-то вечером в конце ноября Юра вернулся из университета поздно, очень усталый и целый день не евши. Ему сказали, что днем была страшная тревога, у Анны Ивановны сделались судороги, съехалось несколько врачей, советовали послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше, она в сознании и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней.

Юра послушался и, не переодеваясь, прошел в спальню.

Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями перекладывала что-то на тумбочке. Кругом валялись скомканные салфетки и сырые полотенца из-под компрессов. Вода в полоскательнице была слегка розовата от сплюнутой крови. В ней валялись осколки стеклянных ампул с отломанными горлышками и взбухшие от воды клочки ваты.

Больная плавала в поту и кончиком языка облизи-вала сухие губы. Она резко осунулась с утра, когда Юра видел ее в последний раз. «Не ошибка ли в диагнозе? — подумал он. — Все признаки крупозного. Кажется, это кризис».

Поздоровавшись с Анною Ивановной и сказав что-то ободряюще-пустое, что говорится всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв Анну

Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это лишнее. Юра понял, что ей нужно от него что-то другое. Собравшись с силами, Анна Ивановна заговорила:

— Вот, исповедовать хотели... Смерть нависла... Может каждую минуту... Зуб идешь рвать, боишься, больно, готовишься... А тут не зуб, всю, всю тебя, всю жизнь... хруп, и вон, как щипцами... А что это такое?... Никто не знает... И мне тоскливо и страшно.

Анна Ивановна замолчала. Слезы градом катились у нее по щекам. Юра ничего не говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала:

— Ты талантливый... А талант, это... не как у всех... Ты должен что-то знать... Скажи мне что-нибудь... Успокой меня.

— Ну что же мне сказать, — ответил Юра, беспокойно заерзал по стулу, встал, прошелся и снова сел. — Во-первых, завтра вам станет лучше — есть признаки, даю вам голову на отсечение. А затем — смерть, сознание, вера в воскресение... Вы хотите знать мое мнение естественника? Может быть, как-нибудь в другой раз? Нет? Немедленно? Ну как знаете. Только это ведь трудно так, сразу.

И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло.

— Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их задавят в этой жадной животной толчее.

Но все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили.

Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими словами, что будет с вашим со-

знанием? Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть — верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения — верное расстройство его иннервации. Сознание — яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание — это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа.

Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим. Вашим. А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько ни припомните, вы всегда заставляли себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего.

Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали — талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант — в высшем широчайшем понятии — есть дар жизни.

Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная.

Он расхаживал по комнате, говоря это.

— Усните, — сказал он, подойдя к кровати и положив руки на голову Анны Ивановны. Прошло несколько минут. Анна Ивановна стала засыпать.

Юра тихо вышел из комнаты и сказал Егоровне, чтобы она послала в спальню сиделку. «Черт знает

что, — думал он, — я становлюсь каким-то шарлатаном. Заговариваю, лечу наложением рук».

На другой день Анне Ивановне стало лучше.

4

Анне Ивановне становилось все легче и легче. В середине декабря она попробовала встать, но была еще очень слаба. Ей советовали хорошенько вылежаться.

Она часто посылала за Юрой и Тонею и часами рассказывала им о своем детстве, проведенном в дедушкином имении Варькине, на уральской реке Рыньве. Юра и Тоня никогда там не бывали, но Юра легко со слов Анны Ивановны представлял себе эти пять тысяч десятин векового, непроходимого леса, черного как ночь, в который в двух-трех местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река с каменистым дном и высокими кручами по Крюгеровскому берегу.

Юре и Тоне в эти дни шили первые в их жизни выходные платья. Юре — черную сюртучную пару, а Тоне — вечерний туалет из светлого атласа с чуть-чуть открытой шеей. Они собирались обновить эти наряды двадцать седьмого, на традиционной ежегодной елке у Свентицких.

Заказ из мужской мастерской и от портнихи принесли в один день. Юра и Тоня примерили, остались довольны и не успели снять обнов, как пришла Егоровна от Анны Ивановны и сказала, что она зовет их. Как были в новых платьях, Юра и Тоня прошли к Анне Ивановне.

При их появлении она поднялась на локте, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала:

— Очень хорошо. Просто восхитительно. Я совсем не знала, что уже готово. А ну-ка, Тоня, еще раз. Нет, ничего. Мне показалось, что мысок немного морщит. Знаете, зачем я вас звала? Но сначала несколько слов о тебе, Юра.

— Я знаю, Анна Ивановна. Я сам велел показать

вам это письмо. Вы, как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. Минуту терпения. Вам вредно разговаривать. Сейчас я вам все объясню. Хотя ведь и вам все это хорошо известно.

Итак, во-первых. Есть дело о живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница, да еще грязь, которая при этом всплывает. Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги, неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба — дутая, и чем во всем этом копаться, лучше было отступить от своих прав на несуществующее имущество и уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам. О посягательствах некой Madame Alice, проживающей с детьми под фамилией Живаго в Париже, я слышал давно. Но прибавились новые притязания, и не знаю, как вы, но мне все это открыли совсем недавно.

Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой, княгиней Столбуновой-Энрици. У этой особы от отца есть мальчик, ему теперь десять лет, его зовут Евграф.

Княгиня — затворница. Она безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска на неизвестные средства. Мне показывали фотографию особняка. Красивый пятиконный дом с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу. И вот все последнее время у меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрым взглядом смотрит на меня через тысячи верст, отделяющие Европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит. Так на что мне это все: выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть? И адвокаты.

— И все-таки не надо было отказываться, — возразила Анна Ивановна. — Знаете, зачем я вас звала, — снова повторила она и тут же продолжала: — Я вспомнила его имя. Помните, я вчера про лесника рассказывала? Его звали Вакх. Не правда ли, бесподобно? Чер-

ное лесное страшилище, до бровей заросшее бородой, и — Вакх! Он был с изуродованным лицом, его медведь драл, но он отбил. И там все такие. С такими имена — ми. Односложными. Чтобы было звучно и выпукло. Вакх. Или Лупп. Или, предположим, Фавст. Слушайте, слушайте. Бывало, доложат что-нибудь такое. Авкт или там Фрол какой-нибудь, как залп из обоих дедушкиных охотничьих стволов, и мы гурьбой моментально шмыг из детской на кухню. А там, можете себе представить, лесовик-угольщик с живым медвежонком или обходчик с дальнего кордона с пробой ископаемого. И дедушка всем по записочке. В контору. Кому денег, кому крупы, кому оружейных припасов. И лес перед окнами. А снегу, снегу! Выше дома! — Анна Ивановна закашлялась.

— Перестань, мама, тебе вредно так, — предостерегла Тоня. Юра поддержал ее.

— Ничего. Ерунда. Да, кстати. Егоровна насплетничала, будто бы вы сомневаетесь, ехать ли вам завтра на елку. Чтобы я больше этих глупостей не слышала! Как вам не стыдно. И какой ты, Юра, после этого врач? И так, решено. Вы едете без разговоров. Но вернемся к Вакху. Этот Вакх был в молодости кузнецом. Ему в драке отбили внутренности. Он сделал себе другие, из железа. Какой ты чудака, Юра. Неужели я не понимаю? Понятно, не буквально. Но так народ говорил.

Анна Ивановна снова закашлялась, на этот раз гораздо дольше. Приступ не проходил. Она все не могла отдышаться.

Юра и Тоня подбежали к ней в одну и ту же минуту. Они стали плечом к плечу у ее постели. Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила их соприкоснувшиеся руки в свои и некоторое время продержала соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, сказала:

— Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. Поженитесь. Вот я и оговорила вас, — прибавила она и заплакала.

5

Уже весной тысяча девятьсот шестого года, перед переходом в последний класс гимназии, шесть месяцев ее связи с Комаровским превысили меру Лариного терпения. Он очень ловко пользовался ее подавленностью и, когда ему бывало нужно, не показывая этого, тонко и незаметно напоминал ей о ее поругании. Эти напоминовения приводили Лару в то именно смятение, которое требуется сластолюбцу от женщины. Смятение это отдавало Лару во все больший плен чувственного кошмара, от которого у нее вставали волосы дыбом при отрезвлении. Противоречия ночного помешательства были необъяснимы, как чернокнижье. Тут все было шиворот-навыворот и противно логике, острая боль заявляла о себе раскатами серебряного смешка, борьба и отказ означали согласие, и руку мучителя покрывали поцелуями благодарности.

Казалось, этому не будет конца, но весной, на одном из последних уроков учебного года, задумавшись о том, как участья эти приставания летом, когда не будет занятий в гимназии, последнего Лариного прибежища против частых встреч с Комаровским, Лара быстро пришла к решению, надолго изменившему ее жизнь.

Было жаркое утро, собиралась гроза. В классе занимались при открытых окнах. Вдалеке гудел город, все время на одной ноте, как пчелы на пчельнике. Со двора доносился крик играющих детей. От травянистого запаха земли и молодой зелени болела голова, как на масленице от водки и блинного угара.

Учитель истории рассказывал о Египетской экспедиции Наполеона. Когда он дошел до высадки во Фрежюсе, небо почернело, треснуло и раскололось молнией и громом, и в класс через окна вместе с запахом свежести ворвались столбы песку и пыли. Две школьные подлизы услужливо кинулись в коридор звать дядьку закрывать окна, и, когда они отворили дверь, сквозняк поднял и понес со всех парт по классу промокашки из тетрадей.

Окна закрыли. Хлынул грязный городской ливень, перемешанный с пылью. Лара вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте, Наде Кологривовой:

«Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от мамы. Помоги мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых».

Надя ответила тем же способом:

«Липе ищут воспитательницу. Поступи к нам. Вот было бы здорово! Ты ведь знаешь, как тебя любят папа и мама».

6

Больше трех лет Лара прожила у Кологривовых как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались, и даже мать и брат, к которым она чувствовала большое отчуждение, не напоминали ей о себе.

Лаврентий Михайлович Кологривов был крупный предприниматель-практик новейшей складки, талантливый и умный. Он ненавидел отживающий строй двойной ненавистью: баснословного, способного откупить государственную казну богача и сказочно далеко шагнувшего выходца из простого народа. Он прятал у себя нелегальных, нанимал обвиняемым на политических процессах защитников и, как уверяли в шутку, субсидируя революцию, сам свергал себя как собственника и устраивал забастовки на своей собственной фабрике. Лаврентий Михайлович был меткий стрелок и страстный охотник и зимой в девятьсот пятом году ездил по воскресеньям в Серебряный Бор и на Лосинный остров обучать стрельбе дружинников.

Это был замечательный человек. Серафима Филипповна, его жена, была ему достойной парой. Лара питала к обоим восхищенное уважение. Все в доме любило ее как родную.

На четвертый год Лариной беззаботности к ней пришел по делу братец Родя. Фатовато покачиваясь на длинных ногах и для пущей важности произнося слова

в нос и неестественно растягивая их, он рассказал ей, что юнкера его выпуска собрали деньги на прощальный подарок начальнику училища, дали их Роде и поручили ему приискать и приобрести подарок. И вот эти деньги третьего дня он проиграл до копейки. Сказав это, Родя плюхнулся всей долговязой своей фигурой в кресло и заплакал.

Лара похолодела, когда это услышала. Всхлипывая, Родя продолжал:

— Вчера я был у Виктора Ипполитовича. Он отказался говорить со мной на эту тему, но сказал, что если бы ты пожелала... Он говорит, что, хотя ты разлюбила всех нас, твоя власть над ним еще так велика... Ларочка... Достаточно одного твоего слова... Понимаешь ли ты, какой это позор и как это затрагивает честь юнкерского мундира?.. Сходи к нему, чего тебе стоит, попроси его... Ведь ты не допустишь, чтобы я смыл эту расправу своей кровью.

— Смыл кровью... Честь юнкерского мундира, — с возмущением повторяла Лара, взволнованно расхаживая по комнате. — А я не мундир, у меня чести нет, и со мной можно делать что угодно. Понимаешь ли ты, о чем просишь, вник ли в то, что он предлагает тебе? Год за годом, сизифовыми трудами строй, возводи, недосыпай, а этот пришел, и ему все равно, что он дунет, плюнет и все разлетится вдребезги! Да ну тебя к черту. Стреляйся, пожалуйста. Какое мне дело? Сколько тебе надо?

— Шестьсот девяносто с чем-то рублей, скажем, для ровного счета, семьсот, — немного замявшись, сказал Родя.

— Родя! Нет, ты с ума сошел! Соображаешь ли ты, что говоришь? Ты проиграл семьсот рублей? Родя! Родя! Знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек вроде меня может честным трудом выколлотить такую сумму?

После некоторой паузы она прибавила, холодно и отчужденно:

— Хорошо. Я попробую. Приходи завтра. И принеси с собой револьвер, из которого ты хотел застрелить —

ся. Ты передашь его мне в мою собственность. С хорошим запасом патронов, помни.

Эти деньги она достала у Кологривова.

7

Служба у Кологривовых не помешала Ларе окончить гимназию, поступить на курсы, успешно пройти их и приблизиться к их окончанию, которое ей предстояло в будущем тысяча девятьсот двенадцатом году.

Весной одиннадцатого кончила гимназию ее питомица Липочка. У нее уже был жених, молодой инженер Фризенданк, из хорошей и состоятельной семьи. Родители одобряли Липочкин выбор, но были против того, чтобы она вступала в брак так рано, и советовали ей подождать. На этой почве происходили драмы. Избалованная и взбалмошная Липочка, любимица семьи, кричала на отца и мать, плакала и топала ногами.

В богатом доме, где Лару считали родною, не помнили долга, сделанного ею для Роди, и о нем не упоминали.

Этот долг Лара давным-давно вернула бы, если бы у нее не было постоянных расходов, назначение которых она скрывала.

Она тайно от Паши посылала деньги его отцу, ссыльнопоселенцу Антипову, и помогала его часто хворавшей сварливой матери. Кроме того, она под еще большим секретом сокращала расходы самого Паши, без его ведома приплачивая его квартирным хозяевам за его стол и комнату.

Паша, бывший немного моложе Лары, любил ее до безумия и во всем слушался. По ее настояниям он по окончании реального засел за дополнительные латынь и греческий, чтобы попасть в университет филологом. Лара мечтала через год, когда они сдадут государственные, обвенчаться с Пашею и уехать, он — учителем мужской, а она — учительницей женской гимназии, на службу в какой-нибудь из губернских городов Урала.

Паша жил в комнате, которую Лара сама приискала